

18+

ГЛИНА И БУМАГА

ИСТОРИЯ УЧИТЕЛЯ



Элина Кинг

Элина Кинг

Глина и бумага. История учителя

«Издательские решения»

Кинг Э.

Глина и бумага. История учителя / Э. Кинг — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-689563-8

Петербург, 1880-е годы. Беспризорник Лешка, ночующий под мостами и добывающий пропитание воровством, не помнит своего имени и не верит в будущее. Его судьбу меняет случайная встреча в вонючей ночлежке со спившимся бывшим семинаристом Фомой, который за кусок хлеба учит мальчика первой букве — «Аз». Так начинается невероятный путь из грязи и отчаяния к свету знания.

ISBN 978-5-00-689563-8

© Кинг Э.

© Издательские решения

Содержание

Берег мутной реки	6
Ночлежка и Фома	10
Цена и шанс	15
Испытание прошлым	20
Два голода	24
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Глина и бумага История учителя

Элина Кинг

© Элина Кинг, 2026

ISBN 978-5-0068-9563-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Берег мутной реки

Осень 1882 года в Петербурге не наступала, а вползала в город мокрым, промозглым зверем. Она не окрашивала листву в огненные цвета – она размачивала её в грязно-жёлтые и бурые тона, превращала в липкую, скользкую кашу под ногами. Воздух был насыщен запахами: кисловатым духом Невы, несущей в Финский залив отходы огромного города; угольным дымом с фабричных труб за Обводным каналом; дешёвым табаком, луком и немытой человеческой плотью, что витали над скученными кварталами. Город гудел, как встревоженный улей, но для двенадцатилетнего Лешки этот гул был просто фоном, шумом чужой, несуществующей жизни.

Его жизнь измерялась не часами, а расстоянием между точками, где можно было согреться и где можно было найти еду. Сегодняшней точкой был берег под пролётом одного из меньших мостов через Неву, недалеко от Смольного. Место было неудачное – открытое всем ветрам, но зато здесь редко появлялась полиция, и не было конкуренции со стороны старших, более сильных «мальчишек с бичами», как называли себя уличные воришки-артельщики. Лешка был одиночкой. Это было его выживанием и его проклятием.

Он сидел, вжавшись спиной в холодный, шершавый камень быка моста, обхватив колени худыми, покрытыми синяками и ссадинами руками. На ногах – обмотки из тряпок, натянутые на стоптанные, разваливающиеся башмаки, найденные полгода назад на помойке. Куртка, когда-то бывшая чьим-то взрослым пиджаком, висела на нем мешком, но под ней было две слоя рубаш, также добытых в неравных уличных боях или подобранных. На голове – картуз с оторванным козырьком, плотно прижимавший спутанные, давно не знавшие мыла волосы цвета пакли.

Но главным его сокровищем сейчас была не одежда. К груди, под куртку и обе рубашки, он прижимал краюху чёрного, подсохшего хлеба. Добыча стояла ему сегодня кровопролитного сражения. Он караулил у задней двери пекарни в Литейной части, зная, что подмастерье иногда выносит брак – подгорелые караваи. Когда дверь приоткрылась, и парень, оглянувшись, бросил на землю две буханки, Лешка кинулся, как голодный пёс. Но из тени выскочил другой, более рослый мальчишка, с озверевшим от голода лицом. Схватка была короткой, молчаливой и жестокой. Они катались по грязному снегу, царапаясь, кусаясь, пытаясь вырвать добычу. Лешке удалось ударить противника коленом в живот, вырвать свою краюху и убежать, получив взамен ссадину во всю щеку и глубокую царапину на руке. Теперь хлеб, пропитанный запахом его пота и отдающий холодом камня, казался ему единственной горячей и живой вещью на свете.

Его звали «Сирота». Так его окрестили в приюте, откуда он сбежал два года назад. Настоящего имени он не помнил. В памяти всплывали обрывочные, смутные картины, как дешёвые литографии, выцветшие от времени: низкий бревенчатый потолок, тёплый запах печки и шей, женщина, напевающая что-то тихое, её руки, касающиеся его лба... Потом – резкий, пронзительный крик, мужские грубые голоса, суета, чьи-то слёзы на его лице. Потом – длинная дорога в телеге, холод, и наконец – большие каменные стены, запах карболки, бесконечные коридоры и общая палата, где ночью плакали двадцать таких же, как он, потерянных детей.

Приют был не адом, а казённым, равнодушным механизмом. Кормили скудно, но регулярно; били за проступки, но не со зла, а «для порядка»; учили самым основам грамоты и молитвам. Но Лешка не мог вынести главного – ощущения клетки, потери того последнего, что у него оставалось: воли. Пусть воля была волей умереть с голоду или замёрзнуть, но это был его выбор. В одну сырую мартовскую ночь, пользуясь сном сторожа, он выбрался через окно в уборной и растворился в лабиринте питерских дворов-колодцев.

Теперь его миром были набережные, рынки, стройки, трактирные задворки и тёмные подворотни. Он научился многому: где взять кипяток за копейку («чайник» – так называлась

походная медная ёмкость у старьевщиков); как просунуть руку в дыру в заборе овощного склада и вытащить подгнившую картофелину; как, пристроившись к толпе у богатых подъездов, открывать дверцы карет, надеясь на грошовую милостыню; как не попадаться на глаза городовым и дворникам, бывшим главным врагам его породы. Он был частью невидимой, презираемой массы – «голи перекатной», «уличной пыли». Его жизнь висела на волоске, и эта нить могла порваться от болезни, от удара городского, от несчастного случая или просто от слишком лютого мороза.

Ветер усиливался, гнал по реке низкие, рваные тучи и срывал с воды колючую изморось. Она секла лицо, забивалась под одежду. Пора было искать ночлег. Днём можно было отсидеться где-нибудь в теплушке на товарной станции, но ночью сторожа выгоняли. Оставались ночлежные дома – эти адские, кишасшие человеческим отребьем казармы. Лешка ненавидел их, но холод был сильнее страха.

Он отломил небольшой кусок хлеба, сунул его в рот и стал медленно, с наслаждением жевать, растягивая удовольствие. Каждый крошечный кусочек он перекачивал во рту, чувствуя, как скудная слюна смешивается с грубым мякишем. Это был ритуал, момент почти покоя. Закончив, он тщательно облизал пальцы, спрятал хлеб обратно на грудь и, поёжившись, выбрался из-под своего укрытия.

Туман уже стлался по воде, окутывая противоположный берег призрачными очертаниями. Горели редкие фонари, их свет дрожал в сырой мгле, создавая жёлтые, расплывчатые круги. Лешка, сторбившись и засунув руки в рукава, побрёл вдоль набережной, стараясь ступать бесшумно, как тень. Он пересёк пустынную площадь, свернул в лабиринт узких переулков за очередным громадным собором. Здесь пахло иначе: кислой капустой, помоями, дешёвым керосином. Из окон доносились обрывки ссор, плач ребёнка, где-то наигрывала шарманка унылую, повторяющуюся мелодию.

Ночлежка, которую он знал, располагалась в полуподвале огромного, обветшавшего дома на Горячей улице, недалеко от Сенной площади. Это было место, куда стекалось всё, что не имело завтрашнего дня: опустившиеся мастеровые, старики без семей, вчерашние крестьяне, не нашедшие работу в городе, нищие, калеки, воришки. Лешка подошёл к чёрной, облупленной двери. От неё валил тяжёлый, густой пар – смесь дыхания сотен тел, влажной одежды, махорки и чего-то гнилого. Он толкнул дверь и нырнул внутрь.

То, что обрушилось на него, было не просто шумом и вонью. Это был густой, почти осязаемый кокон человеческого отчаяния. Большое подвальное помещение, слабо освещённое двумя коптилками, было заставлено сплошными нарами в три яруса. Они ломились от людей. Лежали, сидели, кашляли, ворочались, ругались. Воздух был настолько спёртым и насыщенным, что им казалось трудно дышать. Лешка, прижавшись к стене у входа, дал глазам привыкнуть к полумраку. Нужно было найти место. Свободных не было. Значит, нужно было отвоевать.

Он проскользнул глубже, цепким взглядом оценивая обитателей. Тут лежал старик с беззубым ртом, тут двое молодых парней что-то шептались, бросая вокруг подозрительные взгляды. В углу, на самом нижнем, самом грязном и сыром ярусе нар, он увидел небольшой свободный участок, не больше чем на полчеловека. Рядом, прислонившись к стене, сидел пожилой мужчина. Он не спал, а что-то тихо бормотал себе под нос, глядя в пустоту. Его лицо, обрамлённое седыми, нестриженными патлами, было худым и измождённым, но в глазах, которые на миг встретились с Лешкиными, не было привычного для этого места тупого отчаяния или злобы. Там была какая-то странная, отрешённая ясность.

Лешка, сделав вид, что так и надо, бесцеремонно плюхнулся на свободный клочок досок, вплотную к старику. Тот даже не шелохнулся, только перестал бормотать. Лешка свернулся калачиком, стараясь занять как можно меньше места и сделать себя невидимым. Хлеб он прижал к животу, руку засунул за пазуху, сжимая краюху в кулаке. Так, в полудрёме, он про-

вёл несколько часов, просыпаясь от каждого громкого звука, от чьего-то внезапного движения рядом.

Его разбудил кашель – не просто кашель, а целая серия разрывающих, хриплых спазмов, которые, казалось, вот-вот вывернут лёгкие наизнанку. Кашлял его сосед. Старик скрючился, держась за грудь, его плечи тряслись в немом усилии. Когда приступ прошёл, он тяжело дышал, вытирая губы тыльной стороной руки.

Лешка невольно наблюдал за ним. Старик вытащил из-за пазухи какой-то смятый бумажный сверток, развернул его. Это была газета, вернее, её грязный, порванный лист. Он поднёс его к слабому свету коптилки и начал читать. Не просто смотреть, а именно читать, шевеля беззвучно губами. Лешка замер. Грамотные люди были для него существами почти что с другой планеты, вроде офицеров или богатых купцов. А тут, в этой яме...

– «...вчера... в Ма... Мариинском театре... – старик водил дрожащим, грязным пальцем по строчкам, – состоя... состоялась премьера...»

Он споткнулся о слово, пробормотал его снова, но так и не смог прочесть. Лешка, сам не зная зачем, вдруг тихо прошипел:

– Состоялась.

Старик резко повернул к нему голову. Глаза его были воспалены, но взгляд острый, пронзительный.

– Что?

– Состоялась, – чуть громче повторил Лешка, отводя глаза. – Там написано: «состоялась».

Старик пристально посмотрел на газету, потом на мальчишку.

– Ты... грамотный?

Лешка пожал плечами, сжимаясь в комок.

– Нет. Я... откуда. Но вижу... буковки иногда. На вывесках. Это «с», это «о»... – он смущённо замолчал, чувствуя себя глупо.

Старик не засмеялся. Он вдруг странно оживился.

– Ага... видишь. Зряч. А как тебя?

– Лешка.

– Лешка. А меня – Фома. – Он помолчал, разглядывая газету. – «Состоялась»... Верно. Значит, премьера состоялась. Представь, Лешка, там сейчас тепло. Люстры горят, как сотни солнц. Дамы в шёлках, кавалеры во фраках. Музыка. А мы здесь сидим, в подвале, как черви. И между нами и ими – только вот эти самые закорючки. Они ими владеют. А мы – нет. Пропать.

Он говорил тихо, хрипло, но в его словах была странная, почти гипнотическая сила. Лешка слушал, раскрыв рот. Он не понимал всего, но чувствовал главное: этот старик говорит о вещах, которые находятся где-то за пределами его, Лешкиного, мира голода, холода и страха.

– А зачем они? – не удержался он.

– Кто? Закорючки? – Фома хмыкнул, и это было похоже на короткий лай. – Они ключи, Лешка. Ключи от всех дверей. От тёплой комнаты, от полной тарелки, от уважения. Знаешь, я когда-то... – он махнул рукой, – да что уж. А теперь вот дно. Но хоть читать могу. И знаешь, что самое удивительное? Когда читаешь – тебя нет здесь. Ты там, где действие происходит. На войне, на балу, в жарких странах... Это побег. Единственный бесплатный побег отсюда.

Он снова разразился кашлем, долгим и мучительным. Потом откинулся на стену, закрыв глаза.

Лешка лежал рядом, но сон отступил. В его голове, обычно занятой только планами на ближайшие часы, зашевелилась новая, незнакомая мысль. Он снова посмотрел на грязный газетный лист в руках Фомы. Простые чёрные знаки на серой бумаге вдруг перестали быть просто узором. Они стали тайной. Загадкой, которая, как сказал старик, может быть ключом. Ключом от другой жизни.

Снаружи завывал ветер, в ночлежке стонали и бредили во сне её обитатели, а мальчик по имени Лешка, прижимая к животу краюху хлеба, впервые в своей короткой и жестокой жизни задумался не о том, как выжить до утра, а о том, что скрывается за этими странными «закорючками». Это была первая, едва уловимая трещина в толстой броне его беспризорного существования. Трещина, в которую просочился слабый, но упрямый луч света из мира, называемого «образованием». А луч этот нёс в себе имена: «Аз», «Буки», «Веди»... И вел он неизвестно куда, но прочь от берега мутной реки.

Ночлежка и Фома

Признаться, Фома испугал его. Не криком, не угрозой – этой самой странной тишиной, что возникала вокруг него, и этим горящим, нездешним взглядом. Лешка привык к иным типажам ночлежки: к вечно ноющим, к агрессивно-пьяным, к апатичным, похожим на тюки с грязным тряпьем. Фома не был похож ни на одного из них. Он был как потухший костёр, от которого ещё исходит едва уловимое, но живое тепло.

После той первой ночи Лешка на неделю пропал с Горячей улицы. Его потянуло в знакомые, предсказуемые места: к Базарному мосту, где можно было подработать носильщиком, поднося покупки от экипажей к лавкам; к Александровскому парку, где иногда гуляющая публика бросала монетки «сироткам»; на задворки скотобоен, где можно было выпросить или стащить требуху, которую сварить потом на костре с другими мальчишками. Жизнь шла своим чередом – тяжёлым, грязным, но понятным потоком инстинктов.

Но в голове, как заноза, сидело слово «состоялась». И образ старика, в полумраке водившего пальцем по газете. Это казалось ненужной, почти опасной роскошью – думать о закорючках, когда живот сводило от голода. И всё же, когда в очередной раз его прогнали от тёплого воздуха пекарной трубы, когда городской, ударив кулаком в спину, вытолкал с тротуара, Лешка, отплёвываясь и потирая уши, понял, что идёт не к знакомому пустырю, где ночевали такие же, как он, а снова в сторону Сенной площади. К ночлежке. К Фоме. Им двигало не любопытство даже, а смутное ощущение, что там, в той вонии и тесноте, есть что-то важнее краюхи хлеба.

Фома сидел на том же месте. Казалось, он не двигался с прошлого раза. Перед ним, на коленях, лежала не газета, а толстая, потрёпанная книга в тёмном переплёте без названия. Он не читал, а просто смотрел на неё, изредка проводя ладонью по корешку, как будто гладил живую, но очень уставшую кошку.

Лешка, помявшись у входа, протиснулся к нему и молча уселся рядом, свернувшись калачиком. Фома повернул к нему голову, и в его глазах мелькнуло что-то вроде удовлетворения.

– Вернулся, – констатировал он без удивления. – А я думал, испугался болтуна.

– Я не испугался, – буркнул Лешка, утыкаясь подбородком в колени. Прошло несколько минут в тяжёлом, гулом молчании ночлежки.

– А что это? – не выдержал Лешка, кивнув на книгу.

– Это? – Фома вздохнул. – Это моя прошлая жизнь. «Новая Скрижаль» архиепископа Вениамина. Толкование на Апокалипсис, обряды, правила... Красиво написано. Слог... как кованая ограда. Твёрдый, узорчатый. Я её когда-то в семинарии читал. Потом... переплетал. Моя работа была – книги переплетать. Давать им новую кожу, новый корешок. Чтобы жили дальше.

– Семинария? – Лешка слышал это слово, но не понимал точно, что оно значит. Оно звучало как что-то далёкое и важное, вроде «судебной палаты» или «главного штаба».

– Духовное училище. Где учат на священников, – пояснил Фома. В его голосе не было ни гордости, ни сожаления. – Я там шесть лет отучился. Всё шло... Да вот, не срослось. Не вынес. – Он резко кашлянул, и Лешка увидел, как его тонкие плечи содрогнулись в судороге. – Не вынес я не этой жизни, – прошептал Фома, уже больше для себя, – а той, правильной. Там всё по правилам. А душа... она, брат, как бумага рыхлая. На ней не всякая краска держится. Одну краску нанесёшь – в кляксу расплывётся. Другую – просочится насквозь. Моя душа все их правила в кляксы превратила.

Он замолчал, уставившись в темноту. Лешка почти ничего не понял из этой тирады, но чувствовал огромную, немую боль, исходившую от старика. Боль, которая была глубже и страшнее, чем его собственный, простой голод.

– А почему ты здесь? – спросил Лешка, не думая о такте. Здесь, в ночлежке, тактичность была сродни роскоши.

Фома усмехнулся, и эта усмешка была похожа на трещину на сухой глине.

– Причина банальная, как горб у верблюда. Женщина. Вернее, любовь. Та, что «сильнее смерти». Только смерть-то оказалась сильнее. Её не стало. А меня... после этого будто ветром сдуло со всех насиженных мест. Сначала работал, потом пить начал, чтобы заглушить... этот вой внутри. Потом и работу потерял. А переплётное дело... оно требует трезвой руки и ясного глаза. Вот и докатился. До этого берега.

Он снова положил руку на книгу.

– Но я хоть это умею. Закорючки эти разбирать. И в них иногда спасение. Хочешь, покажу первую? Самую главную?

Лешка насторожился. В его мире за любое «покажу» или «дай» обычно требовалось что-то взамен. Он инстинктивно потрогал спрятанную в тряпье краюху вчерашнего хлеба.

– Зачем? – спросил он подозрительно.

– А затем, – Фома прищурился, – что у тебя глаза голодные. Не только живот. Глаза смотрят и ищут. Большинство тут, – он мотнул головой на спящих, – они уже не ищут. Они ждут конца. А ты ещё ищешь. Так вот, грамота – это такой кусок, который, если раздобудешь, никогда не кончится. Его не съешь, но он и голодать не даст. Ну, так что? Боишься?

Вызов был брошен. Лешка никогда не мог пройти мимо вызова. Это на улице равнялось смерти.

– Я не боюсь, – выпрямился он. – Показывай.

Фома кивнул. Он отыскал на грязном полу уголок газетного листа и обломок кирпича. Очистил небольшое пространство на полу перед собой.

– Первая буква. Царь-буква. «Аз». – Он с трудом, дрожащей от холода или слабости рукой, вывел углём на камне крупный, причудливый знак: «А». – Это – «Я». Как человек сам себя называет. Начало всего. «Аз есмь». Я есть. Вот и ты сейчас «аз есмь». Лешка есть. Запомнил?

Лешка пригляделся. Знак был простым и сложным одновременно. Два склона и пере-
кладина.

– «Аз», – повторил он за Фомой, водя пальцем в воздухе, повторяя движение.

– Верно. Теперь найди её здесь. – Фома протянул ему тот самый газетный лист.

Лешка впервые взял в руки газету. Бумага была грубой, шершавой. Он уставился на полосы мелкого, неразборчивого шрифта. Глаза разбегались. Это был хаос, лес из одинаковых палочек и закорючек. Он чувствовал, как внутри поднимается знакомая ярость от бессилия.

– Не вижу! – буркнул он, готовясь швырнуть газету.

– Не смотри на всё сразу. Смотри вот сюда, на заголовок. Видишь, буквы крупнее? – Фома ткнул пальцем.

Лешка присмотрелся. И вдруг – увидел. Среди прочих начертаний чётко проступил знакомый знак. Тот самый, с двумя склонами.

– Вот! – он торжествующе ткнул своим грязным пальцем, оставив жирный отпечаток. – Это она!

На лице Фомы, впервые за всё время, появилось что-то вроде улыбки. Небольшая, кривая, но улыбка.

– Верно. Это «Аз». Молодец. А теперь вторая. «Буки». Это не «я», а «быть». Существовать. – Он вывел рядом другую букву: «Б». – Вот они, два начала: «Аз» и «Буки». Я есть. Ты понял сейчас не просто знак. Ты понял, что ты есть. Не тряпка, не вошь подзаборная, а тот, кто может узнать себя в этих знаках. Это, брат, и есть первый шаг из грязи.

Лешка смотрел на две буквы на грязном полу, и в его груди что-то ёкнуло. Что-то твёрдое и маленькое, как крупинка. Он повторил про себя: «Аз... Буки... Я есть». Это было странное, непонятное чувство. Гордости? Нет, не совсем. Скорее, осознание собственных границ. Раньше он был сгустком голода и страха, растекающимся по закоулкам. А теперь он мог быть обозначен. Всего двумя закорючками.

Урок длился недолго. Фома быстро устал, его начало знобить. Он свернулся на своём месте, прижав книгу к груди. Лешка, окрылённый, ещё долго водил пальцем по полу, выводя «Аз» и «Буки», стараясь, чтобы его палочки и дуги были похожи на фомины. Он делал это с таким сосредоточенным усердием, с каким воровал кошельки или выискивал пищу. Это было новое ремесло. Самое странное ремесло на свете.

С этого вечера ночлежка на Горячей улице перестала быть для Лешки просто прибежищем. Она стала школой. Неровной, странной, прерывающейся уроками кашля, пьяных криков и необходимости идти и добывать хлеб насущный, но школой.

Он стал приходить чаще. Иногда приносил Фоме что-то съестное: выпрошенную варёную картофелину, бублик, кусок селёдки, завернутый в газету. Это была не плата, а инстинктивный жест благодарности, закон улицы: ты мне – я тебе. Фома принимал это молча, кивая. Иногда делился тем, что было у него: глотком тёплого, ужасного на вкус самогона, который покупал на последние гроши, или просто тихим, ровным присутствием посно хаоса.

Уроки были отрывочными. Фома мог быть ясным и терпеливым, объясняя, как буквы складываются в слоги: «В» + «О» = «ВО». А на следующий день он мог проспять всё светлое время, пробуждаясь мрачным и молчаливым, не отвечая на вопросы, или же, наоборот, впасть в странную, лихорадочную говорливость, рассказывая не о буквах, а о сюжетах книг, которые помнил.

– Вот, к примеру, Гоголь, – бормотал он, глядя в потолок, под которым клубился пар от дыхания. – «Шинель»... Акакий Акакиевич. Он тоже из грязи, из переписчиков. Был у него мелкий, но свой смысл: шинель новая. И украли её. И пропал человек. Исчез. Потому что смысл-то украли. Понимаешь? У каждого должен быть смысл, хоть в шинели, хоть в букве. А иначе – тень.

Лешка не понимал, кто такой Гоголь и что за шинель, но слушал, заворожённый потоком странных слов. Он начал различать в бормотании Фомы знакомые сочетания звуков, улавливать знакомые «азы» и «буки» в этой певучей, непонятной речи.

Однажды он принёс свою первую «тетрадь» – длинную полосу грубой обёрточной бумаги, найденную у мусорной кучи за лавкой. И «перо» – обгорелую лучинку. Фома, увидев это, просиял.

– Молодец! Рабочий инструмент! Давай сюда.

Он показал, как правильно держать лучинку, как выводить буквы не резко, а с нажимом и плавным подъёмом. Лешка выводил строчки: «Аз Буки Веди»... Буквы получались корявыми, пляшущими, но они были. Он смотрел на них, и сердце его билось чаще. Это было его. Его труд, его создание. Не украденное, не подобранное, а рождённое его собственной рукой.

В ночлежке к этой странной паре присматривались. Кто-то крутил пальцем у виска. Пожилая торговка, спавшая неподалёку и иногда подкармливавшая Фома капустным пирогом (Лешка позже узнал, что она была вдовой его бывшего подмастерья), Матрёна, только вздыхала: «Бредит старый, ребёнка с ума сводит». Один здоровенный грузчик, по прозвищу Медведь, как-то пьяно поинтересовался: «Ты чего, старик, умствуешь? Графом маленького готовишь?» Фома посмотрел на него своими ясными глазами и тихо ответил: «Готовлю человека, Степан. А это, поверь, посложнее графа будет». Грузчик что-то пробурчал и отвалил.

Но был и другой тип – молодой, костлявый и вечно нервный тип, с глазами беглой крысы. Звали его Николаем, и промышлял он мелкими кражами. Он несколько раз пристально наблю-

дал за уроками, особенно когда Фома доставал свою толстую книгу в кожаном переплёте. В его взгляде читалась не насмешка, а холодный, практический интерес.

Как-то раз, когда Фома, обессилив, заснул, а Лешка, устав от письма, дремал рядом, Николай подкрался к ним.

– Эй, пацан, – прошипел он. – Старик-то, я погляжу, с ценностью ходит. Книга старая, кожа... Перепродать можно. Да и тебе лучше будет – на хлеб с колбасой хватит. Давай, когда он совсем отключится, стяни. Поделим.

Лешка открыл глаза. В них не было страха, только внезапная, леденящая ярость. Он вскочил, приняв уличную боевую стойку, которую отточил в сотнях драк.

– Пошёл к чёрту, – прошипел он так же тихо, но так ядовито, что Николай отшатнулся. – Тронешь его или книгу – ночью горло перегрызу. Клянусь.

Он не блефовал. В его голосе звучала та простая, животная правда, которую сразу узнают на дне. Николай, привыкший к трусости и покорности, увидел в его глазах дикую, неконтролируемую решимость. Он понял, что этот щенок готов убивать за своего странного старика и его бумажную «ценность». Крысиные глаза метнули взгляд на спящего Фому, на его книгу, и он, буркнув что-то невнятное, растворился в полумраке.

Лешка долго не мог уснуть после этого. Он дежурил. Он понял, что у него теперь есть не только знание двух букв. У него есть что защищать. Это чувство было новым, тяжелым и невероятно важным. Оно ставило его на другую сторону – не того, кто только берёт и бежит, а того, кто охраняет.

Фома слабел с каждым днём. Кашель становился всё глубже, всё разрушительнее. Иногда после приступа на тряпке, которую он прижимал ко рту, оставались ржавые пятна. Лешка видел это и сжимал кулаки. Он не знал, как бороться с этим врагом. Он мог отбиться от вора, мог украсть еду, но не мог украсть здоровье для старика.

В один из особенно холодных вечеров, когда ветер выл в щелях ночлежки, как голодный дух, Фома был необычайно спокоен. Он не кашлял, не бредил. Он сидел, укутанный во всё, что было, и смотрел на Лешку, который старательно выводил на своей бумаге: «МА-МА».

– Получается? – спросил Фома.

– Получается, – кивнул Лешка. Слово «мама» не вызывало у него никаких чувств, это было просто упражнение.

– Молодец. Ты способный. Очень способный. – Фома помолчал, глядя на мерцающую копилку. – Я, Леха, долго не протяну. Чувствую.

– Не надо так, – угрюмо буркнул мальчик, продолжая водить лучинкой.

– Надо. Правду надо говорить. Я не жалею. Я дожил. И даже, глядя на тебя, понимаю – не зря. Хоть одну букву в чужую душу вписал. Это уже что-то. Слушай сюда. – Он наклонился ближе, и его голос стал тихим, но чётким. – Как помру, возьми мою книгу. «Новую Скрижаль». Не для чтения – она тебе пока не по зубам. А как память. И как... капитал. Не отдавай её никому, слышишь? Особенно таким, как Николай. Книга – это не вещь. Это договор. Между тем, кто написал, и тем, кто прочтёт. Ты её пока не прочтёшь, но ты её сбережёшь. Это твоя задача. Потом, когда научишься больше... может, и откроешь. А ещё... – он закашлялся, но подавил приступ. – Есть у меня в кармане... Береги его пуще глаза.

Он сунул руну за пазуху и вытащил не книгу, а маленький, потрёпанный, засаленный томик. На обложке почти стёрлось название, но Лешка разобрал: «Букварь».

– Это... это мой первый. По нему учился. Он мне дороже «Скрижали». Держи.

Лешка взял маленькую книжку. Она была тёплой от тела старика. Он не знал, что сказать. Просто кивнул, сунув её за пазуху, рядом с краюхой хлеба.

– Спасибо, – выдавил он наконец.

– Не за что, – Фома откинулся на стену и закрыл глаза. – «Аз есмь»... И ты теперь есть... Помни это. Всегда.

На следующее утро, когда в ночлежку через забитое досками окно пробился слабый, серый свет, Лешка проснулся от непривычной тишины. Рядом с ним Фома лежал неподвижно. Его рука всё ещё лежала на толстом переплёте «Новой Скрижали». Лицо было спокойным, пепельно-бледным, и этот кашель, терзавший его месяцами, наконец стих. Навсегда.

Лешка не закричал. Не заплакал. Он сел и долго смотрел на старика. Потом осторожно, с невероятной для уличного сорванца бережностью, снял с его колен тяжёлую книгу. Потом проверил карман – букварь был на месте. Он встал, сунул обе книги под куртку, привязав их тряпичным поясом. Они давили на рёбра, но это был хороший, твёрдый груз.

Он посмотрел на Матрёну, которая уже проснулась и, поняв всё, крестилась, шепча молитвы. Кивнул ей. Потом взглянул на угол, где притаился Николай. Тот встретился с ним взглядом. В глазах Лешки не было теперь ярости. Был холодный, безразличный вызов. Николай отвел глаза первым.

Лешка вышел из ночлежки на грязную, засыпанную мусором улицу. Шёл мокрый снег. Он постоял, чувствуя под одеждой углы книг. Он вспомнил первое слово, которое сложил сам из букв, выученных у Фомы: «ДОМ». Тогда он стёр его. Теперь это слово жило у него внутри. И было ещё другое, новое: «ДОЛГ».

Он потрогал сквозь ткань твёрдый корешок «Букваря» и тронулся с места. Ему нужно было идти. Не просто выживать. Теперь ему нужно было идти с этим грузом знаний и памяти. И первый шаг в этот новый, страшный и незнакомый мир взрослой ответственности был шагом прочь от чёрной двери ночлежки, в сырую, холодную мглу петербургского утра. Он был больше не просто Сиротой. Он был Лешкой, учеником Фомы, и у него были ключи. Пусть пока только от двух дверей: «Аз» и «Буки». Но это было начало долгого пути из грязи.

Цена и шанс

Смерть Фомы не стала для Лешки неожиданностью. Он видел, как старик таял день за днем, как жизнь уходила из него, словно вода из треснутого кувшина. Но когда это случилось, мальчика накрыла не столько печаль, сколько глухая, тяжёлая пустота. Фома был маяком в крошечной тьме его существования. Теперь маяк погас, и Лешка остался один на незнакомом, бурном море, с двумя книгами вместо компаса.

Первые два дня после смерти старика он провёл в оцепенении. Он ушёл из ночлежки, боясь, что алчные взгляды вроде Николаева не остановятся перед попыткой отнять книги у живого, раз не вышло у мёртвого. Он нашёл новое укрытие – полуразрушенный сарай на задворках чьего-то завода за Обводным каналом. Место было сырое, кишасщее крысами, но уединённое. Он не выходил на поиски еды, питаясь лишь тем скудным запасом сухарей, что успел припрятать. Всё время он проводил, прижимая к себе книги. «Букварь» он уже мог частично читать, с трудом складывая знакомые слоги. Он перечитывал одно и то же, водя пальцем по пожелтевшим страницам: «Аз. Ангел. Арфа». Мир этих слов был тихим, упорядоченным, не похожим на тот, что бушевал за стенами сарая. Тяжёлая «Новая Скрижаль» лежала рядом, как священный камень, обещание чего-то огромного и непонятного в будущем.

На третий день голод стал нестерпимым. Книги не могли его утолить. Инстинкт выживания, заглушённый горем, проснулся с новой силой. Лешка вышел из своего убежища, спрятав книги под грудой досок. Он чувствовал себя голым и уязвимым без их твёрдого груза под курткой.

Город жил своей обычной жизнью. Лешка, действуя на автомате, вернулся к старым маршрутам. Он попытался стащить булку с лотка у Апраксина двора, но рука дрогнула в последний момент – в голове почему-то всплыло строгое лицо Фомы, выводящего буквы. Его поймали за руку. Торговец, здоровенный детина, не стал звать полицию, а просто дал ему затрещину, от которой в глазах потемнело, и швырнул на мостовую. «Пошёл вон, гнида учёная!» – крикнул он ему вслед. Лешка поднялся, потирая щёку. Слово «учёная» резануло слух. Оно было насмешкой, но в нём была и странная горькая правда.

Он побрёл к Знаменской площади, к вокзалу, где всегда была толчея и можно было потеряться, а заодно и что-то стянуть. Суета, грохот колёс, крики извозчиков – всё это было ему привычно, как собственное дыхание. Он пристроился у входа, изображая жалкого сироту, и уже протянул руку к изящному саквяжу одной барыни, как вдруг почувствовал на своём плече тяжёлую, железную хватку.

Он рванулся, но было поздно. Его держал не дворник и не торговец. Его держал городской. Высокий, усатый, в синей шинели и каске. Его лицо выражало не злобу, а профессиональную усталость и безразличие.

– Ага, попался, птенец, – шепло проговорил он. – Всю неделю вас тут, как тараканов, вылавливаем.

Лешка забился в истерику, кусаясь, царапаясь, пытаясь вывернуться. Он выл от страха и ярости. Страх был старым, знакомым – страх порки, холодных казённых стен, потери воли. Но теперь к нему прибавился новый, острый, как нож: книги! Они остались в сарае. Он не успеет их забрать. Их найдут, сожгут, продадут. Наследие Фомы, его «капитал», его договор – всё пропадёт.

– Книги! – закричал он вдруг, не своим голосом. – Отпустите, мне книги забрать надо!

Городовой только флегматично причмокнул, сильнее сжав его шиворот.

– Какие ещё книги? Бредишь. Пойдём-ка.

Облава была масштабной. Оказалось, по личному распоряжению градоначальника, в городе «наводили порядок» перед приездом какого-то важного сановника. Беспризорики,

нищих, бродяг свозили в участки, а оттуда партиями отправляли в пересыльные пункты и приюты. Лешка оказался в грузной телеге вместе с двумя десятками таких же, как он, испуганных, грязных детей. Кто-то плакал, кто-то угрюмо молчал, кто-то, уже бывалый, спокойно жевал корочку, оценивая новую обстановку. Лешка же сидел, сжавшись в комок, и смотрел в пустоту. Он не чувствовал страха за себя. Всё его существо кричало о книгах. Он представил, как крысы грызут «Букварь», как дождь мочит драгоценные страницы «Скрижали». Это была вторая смерть Фомы – окончательная и бесповоротная.

Его ожидания мрачного полицейского участка с камерами-клоповниками не оправдались. Телега, миновав несколько улиц, выехала за тогдашнюю городскую черту, в район слобод и пустырей. В конце концов они остановились перед большим, мрачного вида каменным зданием, обнесённым высоким забором с острыми пиками. Над воротами висела вывеска: «Санкт-Петербургское Земское Училище для сирот и детей неимущих сословий».

Это была не тюрьма. Это была казарма.

Их втокнули во двор, где уже стояли другие партии новоприбывших. Всех построили в шеренги. Из здания вышел человек – не начальник, а, судя по всему, старший учитель или смотритель. Это был Захарыч. Лешка, ещё не зная его имени, сразу выделил его из окружающей серой массы. Он был невысок, сутуловат, с проседью в тёмных волосах и в старом, но аккуратно заштопанном сюртуке. Его лицо было жёстким, изборождённым морщинами, но глаза – тёмные, глубоко посаженные – смотрели не с тупой жестокостью надзирателя, а с холодным, аналитическим вниманием. Он обходил строй, как полковник обходит новобранцев, молча и пристально вглядываясь в каждое лицо.

Когда он остановился напротив Лешки, их взгляды встретились. В глазах мальчика ещё кипела немотая ярость и отчаяние. Он не опустил взгляд, а уставился на незнакомца с вызовом. Захарыч заметил это. Он заметил и свежий синяк на щеке, и ссадины на руках, и особую, дикую напряжённость во всей его фигуре, отличавшую его от просто запуганных детей.

– Имя? – коротко спросил Захарыч. Голос у него был низкий, безэмоциональный.

– Лешка.

– Фамилия?

Мальчик промолчал. У него не было фамилии.

– Из приюта Рождественской части сбежал два года назад, – не глядя в бумаги, вдруг сказал Захарыч. – Верно?

Лешка вздрогнул. Как он мог знать?

– По глазам видно, – словно угадав его мысль, произнёс Захарыч. – У сбежавших и у дворовых – взгляд разный. Тяжело было на улице?

Вопрос был задан так просто и буднично, что Лешка, ожидавший окрика или насмешки, растерялся.

– Ничего, – буркнул он.

– Врёшь. Тяжело. Но здесь тоже будет тяжело. Только тяжесть другая. Тут тебя будут ломать. Чтобы сделать человека. Не хочешь – сломают и выбросят, как щепку. Понял?

Лешка кивнул, не понимая до конца.

– Грамотный? – следующий вопрос прозвучал как выстрел.

Сердце Лешки ёкнуло. Он колебался секунду, но вспомнил Фому, его гордость за «закорючки». Он выпрямился.

– Читать... немного умею. «Аз» знаю. «Буки».

На лице Захарыча, кажется, дрогнула какая-то тень. Едва уловимая.

– Покажешь позже. Стройся.

Дальше началась процедура, напоминающая processing товара. Их загнали в баню – первую в жизни Лешки настоящую баню с горячей водой и мылом. С него сходили слои грязи, открывая худое, покрытое шрамами и синяками тело. Потом – грубая, но чистая одежда: хол-

щовая рубаха, такие же штаны, казённый армяк и сапоги, которые жали, но были целыми. Потом – стрижка под машинку, от которой голова стала лёгкой и странно голой.

Их распределили по спальням – огромным, холодным залам с двумя рядами железных кроватей. Лешке досталось место у окна, от которого дуло. Рядом, на соседней кровати, рыдал пухлый мальчишка лет десяти, которого, видимо, забрали с какого-нибудь рынка, где он при-торговывал. Лешка смотрел на него с презрением. Слезы здесь были непозволительной роскошью.

Вечером была поверка, молитва (Лешка молча шевелил губами, вспоминая приютские тексты) и скудный ужин: баланда с крупой и кусок чёрного хлеба. Еды было мало, но она была регулярной. Это было ново.

Первые дни прошли в тумане. Режим был железный: подъём в шесть, умывание ледяной водой, молитва, завтрак, уроки. Уроки! Они оказались для Лешки и пыткой, и откровением. Учитель арифметики, тощий и желчный, мог ударить указкой по пальцам за ошибку. Учитель Закона Божьего, отец Михаил, читал монотонно и скучно, отчего все дремали. Но были и другие. Учитель русского, молодой и восторженный, с горящими глазами рассказывал о Пушкине и Лермонтове так, будто они его личные друзья. И был Захарыч, который вёл историю и географию.

Именно на его уроке Лешка впервые не просто присутствовал, а услышал. Захарыч не читал по книге. Он рассказывал. О древних скифах, курганы которых можно найти под Петербургом; о том, как Пётр прорубил окно в Европу и почему это было страшно и тяжело; о том, что такое континент и почему в Африке живут негры. Его речь была простой, но образной. Он не боялся сложных слов, но сразу объяснял их. Лешка, сидя на последней парте, ловил каждое слово. Это было похоже на рассказы Фомы, только более масштабные и упорядоченные. Это был новый мир, и Захарыч был его проводником.

Однажды после урока Захарыч остановил его.

– Лешка. Оставайся.

Когда класс опустел, учитель подошёл к нему.

– Ты сказал, что «Аз» знаешь. Докажи.

Лешка растерялся. Букв вокруг не было.

– Напиши своё имя, – сказал Захарыч, положив перед ним клочок бумаги и карандаш.

Рука Лешки дрожала. Он так старался, с таким трудом выводил буквы, которые когда-то рисовал углём на полу. Получилось криво, но читаемо: «Л Е Ш К А».

Захарыч посмотрел. Потом взял карандаш и подписал рядом, красивым, каллиграфическим почерком: «АЛЕКСЕЙ».

– «Лешка» – это для улицы. Здесь ты – Алексей. Понял?

Лешка кивнул. «Алексей». Звучало солидно. Чуждо, но солидно.

– Кто учил? – спросил Захарыч, и в его голосе впервые прозвучала не формальность, а интерес.

Лешка опустил глаза. Рассказать о Фоме, о ночлежке? Он боялся, что это обесценит тот дар, что дал ему старик.

– Старик... один. Умер, – коротко бросил он.

– На улице?

– В ночлежке.

Захарыч молча кивнул, как будто всё понял без слов. Потом он подошёл к небольшому шкафчику, открыл его и вынул тоненькую, потрёпанную книжку.

– Это тебе. «Родное слово» Ушинского. Начальный уровень. Будешь заниматься дополнительно. После ужина, час. Здесь. Уроки за тобой не поспевают, ты отстаёшь по письму и грамматике. Но голова, я вижу, работает. Будешь работать – догонишь. Не будешь – отчислю в мастерскую, подметать полы. Всё ясно?

Лешка взял книгу. Она была легче «Букваря», но в его руках она весила тонну. Это был не подарок. Это был контракт. Тяжёлый, неумолимый. Но это был и шанс. Второй шанс, протянутый суровой, но справедливой рукой.

– Ясно, – тихо сказал он.

С этого дня жизнь Лешки-Алексея обрела новую, двойную суть. Днём он был одним из многих сирот в казарменной системе, где царили строгость, муштра и борьба за место под солнцем уже внутри коллектива. Ночью, в общем зале, случались драки, отнимали хлеб, травили слабых. Алексей, благодаря уличной закалке, быстро дал понять, что он не лёгкая добыча. Он не лез первым, но и себя в обиду не давал. Его уважали за яростное, молчаливое сопротивление.

А после ужина начиналась другая жизнь. Он приходил в пустой класс, где его ждал Захарыч. Тот не был ласковым. Он был требовательным, даже жёстким. Он заставлял по сто раз переписывать одну и ту же фразу, пока буквы не начинали получаться ровными. Он терпеливо объяснял правила сложения и вычитания, но лицо его становилось каменным, если Алексей отвлекался.

– Ты думаешь, я из жалости с тобой время трачу? – как-то рывкнул он, когда Алексей, уставший, сделал глупую ошибку. – На улице тебя жалели? Нет. И здесь жалеть не будут. Я вижу в тебе инструмент. Инструмент можно затупить, а можно наточить. Я пытаюсь тебя наточить. Если ты не хочешь – скажи. Дверь открыта.

Алексей не ушёл. Он стиснул зубы и снова взял карандаш. Потому что в этих тихих, напряжённых часах он снова чувствовал то же, что чувствовал с Фомой: свою значимость. Он был не просто единицей, он был проектом. И он начал понимать разницу между знанием, полученным как милость (у Фомы), и знанием, выстраданным как обязанность (у Захарыча). Второе было тяжелее, но надёжнее. Оно входило в плоть и кровь.

Прошло несколько месяцев. Алексей догнал, а потом и перегнал многих сверстников. Он поглощал знания с ненасытной жадностью. Читал всё, что попадало в руки: старые газеты, учебники, случайные книжки из скудной библиотеки училища. Он узнал, что Земля круглая, что бывают страны, где всегда жарко, что Наполеон был разбит, а Пётр Великий построил этот город на болотах. Каждый новый факт был кирпичиком в стене, которая отгораживала его от прошлого, от того грязного, голодного Лешки под мостом.

Но ночами его мучили кошмары. Ему снился сарай, и крысы, грызущие книги. Он просыпался в холодном поту, и первым порывом было бежать, проверить. Но он не мог. Книги были потеряны. Он предал доверие Фомы. Это чувство вины было единственным, что связывало его с прежней жизнью.

Однажды, выполняя поручение Захарыча – отнести какие-то бумаги в канцелярию, – он проходил мимо котельной. Рядом с ней была небольшая, закопчённая кладовка, куда сваливали старый хлам, сломанную мебель и макулатуру, предназначенную на растопку. Алексей, уже почти пройдя мимо, замедлил шаг. Его взгляд упал на груды пожелтевших бумаг и книг в углу. Сердце бешено заколотилось. Нет, не может быть...

Он оглянулся. Никого. Он шагнул в кладовку. Запах плесени, пыли и старой бумаги ударил в нос. Он стал лихорадочно разгребать груды. Буквари, задачник, разрозненные тома какого-то журнала... И вдруг – он увидел знакомый тёмный переплёт. Он вытащил его. «Новая Скрижаль». Та самая. Потрёпанная, в пятнах, но целая. Рядом, под ней, лежал и маленький «Букварь». Они были здесь. Их не сожгли. Их просто выбросили, как ненужный хлам, когда обыскивали сарай после его поимки.

Алексей прижал книги к груди, закрыв глаза. Он стоял в пыльной кладовке, и по его грязным щекам текли слёзы. Впервые за много месяцев. Это были слёзы облегчения, искупления вины и какой-то невероятной, всепоглощающей радости. Фома был с ним. Его наследие не погибло.

Он не унёс книги сразу. Это было слишком рискованно. Он спрятал их поглубже в куче, запомнив место. Теперь он знал, где его сокровище. Он приходил сюда тайком, когда мог, и просто сидел рядом, положив руку на переплёт, как когда-то это делал умирающий старик. Он не читал «Скрижаль» – она была ему ещё не по силам. Но он читал «Букварь», и теперь каждая буква в нём была наполнена памятью и смыслом.

Однажды Захарыч, проверяя его письменную работу, нахмурился.

– Откуда у тебя такой оборот? «Яко же рече пророк»... Это церковнославянский. Где ты это вычитал?

Алексей испугался. Он промолчал.

– Не хочешь говорить – не надо, – отрезал Захарыч. – Но гнильём отдаёт. Старообрядческими книжками не увлекайся. Тебе светское образование нужно, к экзаменам готовиться. Понял?

– Понял, – кивнул Алексей, но внутри он знал, что не откажется от книг Фомы. Они были его корнями, пусть и уходящими в самую грязь и тьму.

Так, между двумя мирами – строгим, упорядочивающим миром Захарыча и тёплым, хаотичным миром памяти о Фоме – Алексей строил себя. Из глины его уличного прошлого, замешанной на воде слёз и пота, с добавлением прочного раствора знаний, он по кирпичику возводил нового человека. Человека по имени Алексей. Пусть пока только внутри стен училища. Но это было начало. Тяжёлое, мучительное, полное потерь и обретений начало пути из беспризорной тьмы к тусклому, но собственному свету.

Испытание прошлым

Год в Земском училище переломил что-то в костяке Алексея. Он всё ещё был худым, но худоба эта стала другой – не болезненной, а подтянутой, жилистой. Глаза, прежде бегавшие по сторонам в постоянной настороженности, теперь чаще были прищурены и сосредоточенны, особенно когда он что-то читал или слушал объяснения Захарыча. Казарменная дисциплина, поначалу казавшаяся невыносимой каторгой, въелась в плоть и стала скелетом его нового существования. Он научился вставать по звонку, молча и быстро заправлять кровать, мыться в общей бане, не обращая внимания на толчки и крики. Он научился держать спину на уроках и опускать взгляд, когда этого требовали, но внутри это уже не была покорность – это была тактика. Сохранение сил для главного.

Главным были книги. Те, что нашлись в кладовке, стали его тайной святыней. Он не мог держать их в спальне – обыски были обычным делом. Поэтому он устроил тайник на чердаке главного корпуса, куда можно было забраться через полуразрушенное слуховое окно в уборной. Место было пыльное, холодное, заваленное хламом, но своё. Туда, украдкой, он пробирался раз в неделю, иногда реже. Он заворачивал книги в кусок промасленной бумаги, найденный у печника, и прятал под отставшую половицу. Там же лежал и его тайный дневник – несколько сшитых вместе листов бумаги, купленных в складчину с другими учениками для уроков, но отложенных им для себя. Он не писал там о чувствах. Он записывал новые слова, услышанные на уроках или вычитанные: «эволюция», «конституция», «капитал». Рядом выводил их объяснение, как понимал. Это была карта нового мира, который он осваивал.

Захарыч был доволен его успехами, но не показывал этого. Его похвалой было отсутствие упрёков и всё более сложные задания. Он стал давать Алексею книги из своего, небогатого, но тщательно подобранного шкафа: «Робинзон Крузо» в переводе, исторические очерки Карамзина в адаптации для юношества, даже тоненький томик стихов Некрасова. «Читай. Потом расскажешь, что понял», – говорил он коротко. Алексей читал запоем, по ночам, прячась под одеялом с огарком свечи, рискуя быть пойманным и жестоко наказанным. «Робинзон» потряс его до глубины души. Он видел в герое себя: выброшенного на необитаемый остров жестокой судьбы и выживающего только силой ума и упрямства. Но остров Робинзона был чистым, а его остров – грязный и людный.

Он всё ещё был изгоем среди многих воспитанников, но уже по другой причине. Не потому что слаб, а потому что странен. Он не участвовал в тайных ночных пиршествах с украденной с кухни картошкой, редко смеялся, всегда был чем-то занят. Его прозвали «Монахом» или «Книжным червём». Иногда пытались травить, подкладывали в постель колючки, воровали его перо. Он не жаловался. Он просто однажды поймал главного задиру, тощего и жилистого парня по имени Гришка, в уборной и, не говоря ни слова, избил его с холодной, методичной жестокостью, которой научила улица. После этого приставания стали реже, перейдя в стадию недоброго шепота за спиной.

Единственным, с кем у Алексея сложилось что-то вроде приятельских отношений, был Федя – пухлый, веснушчатый мальчик, сын умершего приказчика, отданный в училище бедной вдовой. Федя был незлобивым, немного трусоватым и обожал всё, что связано с механизмами. Он мог часами рассказывать об устройстве паровой машины, о железных дорогах. Он и Алексея выручал, когда тот не мог справиться с задачкой по арифметике, а Алексей помогал Феде в грамматике. Их дружба была тихой и деловой, но для Алексея это был первый опыт нормального, не основанного на страхе или выгоде, общения.

Однажды ранней весной, когда снег в городе почернел и осел, превратившись в липкую кашу, Захарыч вызвал Алексея после урока.

– Завтра, после занятий, нужно сходить в город, – сказал учитель, не глядя на него, разбывая бумаги. – В канцелярию Попечительского совета на Фонтанке. Отнести этот пакет. Ты не из пугливых, и улицы знаешь. Справишься?

Сердце Алексея ёкнуло. Выйти за ворота! В город, который он знал только как поле битвы за выживание. Теперь он посмотрит на него другими глазами.

– Справлюсь, – твёрдо сказал он.

Захарыч кивнул и протянул ему небольшой, но плотный пакет, запечатанный сургучом, и пять копеек.

– На конку. Туда – пешком, обратно – можешь проехать. Смотри не задерживайся. И... – он наконец поднял глаза, и в них мелькнуло предостережение, – держись прямых улиц. Не сворачивай в кварталы, где тебя... помнят.

Путь от училища до Фонтанки был неблизким. Алексей шёл быстро, по-старому подворотному, ступая бесшумно, но его осанка была уже другой – не сгорбленной, а прямой, хоть и небрежно засунув руки в карманы армяка. Городской шум обрушился на него с новой силой. Он слышал его всегда, но из-за высоких стен училища тот казался приглушённым, далёким грохотом. Теперь он был внутри этого варева. Запахи – конского навоза, дешёвого табака, свежей выпечки из открытых дверей булочной – щекотали ноздри, вызывая странную смесь тоски и отчуждения. Он смотрел на вывески и с внутренним торжеством читал их: «АПТЕКА», «ТРАКТИРЪ», «ПОРТНОЙ». Каждое прочитанное слово было маленькой победой.

Он благополучно добрался до мрачного здания канцелярии, сдал пакет угрюмому чиновнику с зелёным глазом и, получив расписку, с облегчением вышел на улицу. У него оставалось время. Пять копеек жгли карман. Мысль о конке была заманчива, но ещё более заманчивой была другая. Он стоял на набережной Фонтанки, глядя на мутную воду, и вдруг его потянуло туда, в самое сердце своего старого, голодного мира – на Сенную площадь. Не из ностальгии, а из странного, почти болезненного желания проверить: а он ещё там? Тот Лешка? Или он окончательно стал Алексеем?

Он пошёл не по прямым проспектам, а знакомыми, узкими переулками. С каждым шагом его походка невольно менялась, плечи ссутуливались, взгляд становился скольльзящим и цепким. Это было как надеть старую, пропахшую дымом и потом одежду. Он вышел на площадь. Здесь всё было по-прежнему: гвалт, крики торговцев, возки с товарами, нищие, городовые, вечно куда-то спешащие прохожие. Запах – невымытый, острый, знакомый до боли.

Алексей замер у входа в Гостиный двор, прислонившись к стене, просто наблюдая. Он видел мальчишек-«бегунов», сновавших между телегами, выискивая, что стащить; видел старуху-попрошайку с младенцем на руках (младенец был бутафорский, он это знал); видел пьяного мастерового, которого вышвыривали из трактира. И вдруг его взгляд наткнулся на знакомую фигуру. Высокий, костлявый, в потрёпанном картузе и коротком драном пальтишке. Николай. Тот самый, что хотел украсть книги у Фомы. Он стоял, прислонившись к тумбе, и с профессиональной безразличностью осматривал толпу, высматривая карманы для «работы».

Инстинкт велел Алексею отпрянуть в тень, отвернуться. Но он не сделал этого. Он стоял и смотрел. Он был в казённой, но чистой одежде, сытый, подстриженный. Он был другим. И эта разница давала ему странную, хрупкую уверенность.

И в этот момент Николай увидел его. Сначала его взгляд скользнул мимо, но потом вернулся, остановился. В тусклых глазах воришки мелькнуло сначала недоумение, потом припоминание, и наконец – холодное, узнающее любопытство. Он оттолкнулся от тумбы и не спеша направился к Алексею, расталкивая людей костлявым локтем.

– Ну-ну, – протянул он, останавливаясь в двух шагах. Голос у него был сиплый, как всегда. – Кого я вижу? Птенец вылетел? Или... перелинял?

Алексей молчал, смотря на него прямо.

– Сиротка, да? Тот самый, что за книжками старика дрожал как цыплёнок. – Николай окинул его насмешливым взглядом с ног до головы. – Глянь-ка, в люди вышел. Чисто одет, сыт, морда гладкая. В приюте, поди, тёпленькое местечко нашёл?

– В училище, – коротко бросил Алексей.

– Училище! – Николай свистнул, притворно восхищённо. – Значит, грамотей! Учёный муж! Ну что ж, поздравляю. А старика твоего, пьяницу Фому, помнишь? Сдох, как собака. Правильно, кстати. На что он был годен?

Внутри у Алексея всё сжалось в тугой, горячий комок. Но снаружи он не дрогнул.

– А мы тут без тебя соскучились, – продолжал Николай, снисходительно-язвительно. – Место твоё, под боком у Матрёны, так и пустовало. Да и руки у меня ловкие, а глаз острый – мог бы ты нам в деле подмогой быть. Разведчиком. Ты ж теперь из «благородных», тебя в подозрение не возьмут. Подойдёшь к барину, спросишь который час, а я... – он сделал изящное движение рукой, имитируя кражу.

Алексей чувствовал, как по спине ползёт холодный пот. Это было испытание страшнее любой драки. Это был зов той самой грязи, из которой он пытался выбраться. Зов, знакомый до боли, до тошноты. В нём проснулся старый, животный страх – страх голода, холода, беспомощности. Николай олицетворял всё это. И предложение его было таким простым, таким лёгким. Не надо корпеть над книгами, терпеть унижения Захарыча, бороться с собой. Достаточно кивнуть – и сегодня же будет и еда, и тёплый угол, и своя, понятная роль в стае.

Он молчал так долго, что Николай, видимо, принял это за колебание. Его лицо расплылось в ухмылке, обнажив жёлтые, кривые зубы.

– Чую, душа просит, да ум противится? Брось, Лёш. Какое там училище? На кого ты там выучишься? На писаря за три рубля в месяц? А тут – живая жизнь. Деньги, вольность. Давай, сегодня как раз дельце есть. Купец один жирный на извозчике едет, кошелёк туго набит...

И в этот момент Алексей осознал себя. Не Лешкой, не Сиротой. Алексей. Ученик. Тот, кто знает, что «эволюция» – это развитие, а «конституция» – закон. Тот, у кого в тайнике лежат книги и тетрадь с новыми словами. Тот, кому Захарыч, суровый и справедливый, доверил пакет. Этот внутренний образ оказался крепче, чем все соблазны прошлого.

Он выпрямился во весь свой ещё невысокий рост. Голос его, когда он заговорил, был тихим, но чётким, без уличной хрипотцы:

– Нет.

Николай перестал ухмыляться.

– Что?

– Я сказал – нет. Я тебя не знаю. И того купца не тронешь. Уходи.

На лице Николая изумление сменилось злобой. Он сделал шаг вперёд, и его рука, быстрая как змея, схватила Алексея за грудки армяка.

– Ах ты, щенок выкормленный! Да я тебя...

Но он не успел закончить. Алексей не стал вырываться. Он действовал как на улице – быстро и без предупреждения. Его казённый сапог со всей силы ударил Николая по голени, в самое болезненное место. Тот ахнул от боли, разжал хватку. В тот же миг Алексей рванулся прочь, но не побежал. Он отскочил на два шага, приняв оборонительную стойку, глаза его горели холодным огнём.

– Попробуй ещё, – прошипел он. – Городовой на углу. Крикну – тебя в часть заберут. Я теперь не беспризорник, мне поверят.

Это был блеф, но блеф уверенный. Николай, потирая голень, с ненавистью смотрел на него. Он видел, что перед ним не тот испуганный мальчишка, что дрожал за книги. Перед ним был кто-то другой. Чужой. Он плюнул к его ногам.

– Иди к чёрту, сухарь казённый. Сгноят тебя в твоём училище. А когда выгонят – помни, тебя тут с радостью не ждут. Протянешь руку – отрубят.

Он, прихрамывая, развернулся и растворился в толпе.

Алексей стоял, тяжело дыша. Руки его дрожали. Он победил. Но это была победа, от которой не было радости, только горечь и пустота. Он посмотрел на пятикопеечную монету, зажатую в потной ладони. Потом подошёл к ближайшему нищему – старому, безногому калеке, сидевшему на войлоке. Он бросил монету в его деревянную чашку.

– На хлеб, – хрипло сказал он. – Больше я тебя не знаю.

Последние слова он сказал уже уходя, самому себе, тому прошлому, которое только что встало перед ним во плоти. Он не пошёл на конку. Он пошёл назад пешком, быстрым, ровным шагом, не оглядываясь. Ему нужно было стряхнуть с себя прилипшую грязь этого мира. Ему нужно было назад, за высокие стены училища, к своим книгам, к своему чердаку, к строгому, но чистому лицу Захарыча.

По дороге он зашёл в маленькую церковь, мимо которой проходил. Он не был особо верующим, но сейчас ему нужно было тихое, прохладное место. Он зашёл, перекрестился, как учили в приюте, и сел на лавку в дальнем углу. В полумраке горели свечи, пахло ладаном и воском. Он сидел, не молясь, а просто приходя в себя. В голове звучали слова Николая: «Сгнойт тебя в твоём училище». А вдруг он прав? Вдруг всё это – иллюзия? Вдруг он, как таракан, выбежал на минуту из-под плинтуса на чистый пол, а его сейчас раздавят?

Нет. Он сжал кулаки. Не раздавят. Он не даст. У него теперь есть что терять. Не краюху хлеба, а что-то большее. Он встал и вышел из церкви. Вечерело. Он ускорил шаг.

Когда он вернулся в училище, уже смеркалось. Он отчитался перед дежурным, отдал расписку и пошёл в спальный корпус. В коридоре его окликнул Захарыч.

– Ну что, сходил?

– Сходил, Алексей Захарович.

– Ничего? Не приставали? – в вопросе учителя был не просто формальный интерес.

Алексей встретился с ним взглядом. И в этот момент он понял, что может сказать правду. Этот суровый человек, возможно, поймёт.

– Приставали. Один... с прошлой жизни. Предлагал вернуться.

Захарыч внимательно посмотрел на него.

– И что?

– Я отказался.

Молчание повисло между ними. Потом Захарыч медленно кивнул.

– Правильно. Дорогу назад мостят такими вот встречами. Чтобы было легче вернуться. Ты её не нашёл?

– Нашёл. Но не пошёл по ней.

– Умница. Иди ужинать.

Это было «умница». Первое прямое, не обезличенное одобрение. Оно значило для Алексея больше, чем любая похвала.

В тот вечер, лёжа в постели, он не мог уснуть. Перед глазами стояло лицо Николая, полное ненависти и презрения. «Сухарь казённый». Он повернулся на бок и уткнулся лицом в подушку. Он не хотел быть сухарём. Он хотел быть человеком. Но чтобы им стать, нужно было пройти между Сциллой уличной грязи и Харибдой казённого равнодушия. Сегодня он прошёл первое испытание. Но он знал – впереди будут другие. И главные из них ждали его не на улицах, а здесь, внутри этих серых стен, в борьбе с самим собой.

Он заснул под утро, и ему снился сон. Он шёл по длинному, чистому коридору с высокими окнами. В одной руке у него была потрёпанная «Новая Скрижаль», в другой – тетрадь с новыми словами. А впереди, в конце коридора, у открытой двери, залитой светом, стояли двое: Фома в своих лохмотьях и Захарыч в своём штопаном сюртуке. Они молча смотрели на него. И он шёл к ним, чувствуя тяжесть обеих книг, но зная, что нести их надо. Обе.

Два голода

Голод был знаком Алексею в разных ипостасях. Было страшное, сосущее пустотой чувство в животе, когда сутки, а то и двое не было во рту ни крошки. Было привычное, фоновое чувство недоедания, когда баланды хватало лишь на то, чтобы не упасть. Но в Земском училище он столкнулся с голодом нового рода. Физически здесь кормили скудно, но регулярно: утром – чай с сахаром и кусок чёрного хлеба, в обед – пустоватые щи или серая каша с крошечным кусочком мяса раз в неделю, на ужин – та же каша или тюря. Это был голод, но предсказуемый, вписанный в распорядок. Он не сводил с ума, а лишь постоянно напоминал о себе лёгкой слабостью в коленях после третьего урока.

Новый голод был иного свойства. Это был голод по знанию. И его пробудил в Алексее Захарыч.

После той поездки в город и столкновения с Николаем что-то изменилось в их отношениях. Захарыч перестал видеть в Алексее просто способного, но проблемного сироту. Он увидел в нём бойца, выдержавшего первое серьёзное испытание. И его методы стали строже, требовательнее, но и содержательнее.

Он начал заниматься с Алексеем индивидуально не только после ужина, но и в свободные часы в воскресенье. Эти занятия уже не сводились к грамматике и чистописанию. Захарыч приносил книги из своего шкафа – не адаптированные детские издания, а взрослые, серьёзные.

– Это Белинский, «Литература и нравственность», – говорил он, кладя на стол тонкий потрёпанный томик. – Читай. Не всё поймёшь, но старайся. Подчеркни места, которые покажутся тебе важными или непонятными.

Алексей читал. Сначала с трудом, спотыкаясь о длинные, витиеватые фразы, о незнакомые понятия. Он подчёркивал карандашом целые абзацы. Потом они разбирали их с Захарычем. Учитель не давал готовых ответов. Он задавал вопросы.

– Почему критик считает, что искусство должно служить обществу? А что такое, по-твоему, общество? Видишь ли ты вокруг себя это «общество»?

Алексей морщил лоб, пытаясь совместить высокие слова с тем, что видел: с казарменным порядком училища, с уличной грязью, с равнодушными лицами чиновников в канцелярии. Он отвечал неуверенно, косноязычно. Захарыч слушал внимательно, поправлял, направлял.

– Ты мыслишь, – как-то сказал он, и это была высшая похвала. – Пусть пока неумело, пусть сбиваешься, но мыслишь. Это главное. Большинство людей только жуют чужую жвачку.

Он познакомил Алексея с географией не как с перечнем стран и рек, а как с историей открытий. Рассказывал о Магеллане, о Куке, о том, как менялась карта мира. Принёс потрёпанный атлас, и Алексей мог часами листать его, разглядывая очертания континентов, странные названия городов: Тимбукту, Калькутта, Сантьяго. Мир раздвигался до невероятных размеров, переставая уместаться в границах Петербурга и его помойных окраин.

Но самым острым, самым жгучим был голод по знаниям точным, неопровержимым. Математика. Её вёл сам Захарыч, и вёл блестяще. Он не просто учил решать задачи. Он раскрывал внутреннюю красоту логики. На доске, покрытой трещинами, мелом он выводил формулы, доказывал теоремы. И Алексей вдруг прозревал. Он видел, как из хаоса цифр и знаков рождается стройный, идеальный порядок. Дважды два всегда четыре. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Это были не правила, а законы вселенной, твёрдые, как гранит. В мире, где всё было зыбко, где можно было в любой момент потерять кров и пищу, где люди лгали и предавали, – математика была царством абсолютной истины и справедливости. Здесь не было «почти» или «отчасти». Здесь было «да» или «нет». И это давало Алексею опору, более прочную, чем стены училища.

Он стал решать задачи не только заданные, но и придумывать сам. Находил старые задачки в кладовке, просиживал ночи, рискуя быть пойманным, над листами бумаги, испещрёнными колонками цифр. Это был побег. Побег в мир чистых абстракций, где не было ни голода, ни холода, ни тоски по умершему Фоме, ни страха перед будущим.

Однажды Захарыч дал ему задачу повышенной сложности – на движение. Алексей бился над ней два дня, перепробовал все известные ему способы, но решение ускользало. Он стал раздражительным, не мог есть, плохо спал. Это был тот же одержимый голод, что гнал его когда-то на поиски пищи, только теперь его мозг требовал иной пищи – ответа.

На третий день, во время уборки двора, когда он механически сгребал мокрый снег, в голове его вдруг щёлкнуло. Он увидел решение. Не как последовательность шагов, а целиком, как картину. Он бросил лопату и побежал в корпус, к классу, не обращая внимания на окрики дежурного. Влетел в пустой класс, схватил мел и начал лихорадочно писать на доске, покрывая её формулами и чертежами. Он не слышал, как открылась дверь и вошёл Захарыч.

Учитель молча наблюдал, как мальчик, забыв обо всём на свете, завершает выкладки и, наконец, с силой подчёркивает мелом итоговый ответ. Тогда Захарыч негромко похлопал.

Алексей вздрогнул и обернулся, словно очнувшись от сна.

– Правильно, – сказал Захарыч, подходя к доске. – И даже изящно. Ты использовал приём, который мы ещё не проходили. Откуда?

– Я... сам догадался, – смущённо сказал Алексей, вдруг ощутив всю непозволительность своего поступка – бросить работу, ворваться в класс...

– Сам, – повторил Захарыч. В его глазах светилось редкое, одобрительное выражение. – Это называется интуиция. Ценный дар. Но одного дара мало. Его нужно оттачивать, как клинок. Иначе затупится.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.